



НИКОЛАЙ КАЛЯГИН

## ЧТЕНИЯ О РУССКОЙ ПОЭЗИИ

Батюшков у нас вообще статья особая. Этого прославленного поэта мало читают; имя Батюшкова в России поистине стало счастливее и самого Батюшкова, и его стихов.

Вспомним, что сказано о нем в «Доме сумасшедших»:

Чудо! — Под окном на ветке  
Крошка Батюшков висит  
В светлой проволочной клетке;  
В баночку с водой глядит,  
И поет он сладкогласно:  
«Тих, спокоен сверху вид,  
Но спустишь на дно — ужасный  
Крокодил на нем лежит».

Здесь каждая деталь многозначительна и по-своему точна: маленький рост, сладость звуков (итальянская), которую Батюшков стремился усвоить для русской поэзии, но главное — какая-то искусственность, нереальность его жизненного подвига.

Вот и Пушкин, по свидетельству современника, в зрелые свои годы «что-то разлюбил Батюшкова и уверял, что в некоторых стихотворениях его можно было уже предвидеть зародыши болезни, которая позднее... поглотила его».

Есть что-то тягостное в поэзии Батюшкова, тягостное и душное. Этот маленький человек, тяжелый ипохондрик, просидевший в деревенском затворе месяцы и годы, истязавший себя всеми пытками беспощадного самоанализа, заслужил прозвище «российского Парни». Пел, надсаживаясь, веселье, которого не чувствовал, и любовь, которой не знал. «Певцом чужих Элеонор» с убийственной меткостью назвал его однажды Вяземский.

Всем карамзинистам без исключения занятия легкой поэзией представлялись страшно серьезным делом, но Батюшков стал у нас подлинной «жертвой просвещения». Легкомысленности, сладострастия в его натуре не было ни на грош, он занимался художественной разработкой этих тем по чувству долга.

Русофильствовать, благодушествовать, писать философскую лирику может

поэт высшей европейской культуры (Тютчев, к примеру, или Рильке), карамзинисты были людьми средней европейской культуры. Конечно, не для них «Афон и Саров текли половодьем из слов», но и лучшие воды Запада (испанский театр, Шекспир, немецкая классическая философия) также протекли мимо них. Неподвижным центром маленькой вселенной карамзинистов являлся город Париж.

И Батюшков, русский офицер и русский патриот, перетруился и надорвался — с ума сошел, пытаясь доказать себе и другим, что на заснеженных полях его бедного Отечества могут вырастать розы, почти не уступающие тем, что цветут в общеевропейском доме у императора Наполеона...

«Певцом безнадежности» назвал Батюшкова советский исследователь Г. А. Гуковский; безнадежна была сама попытка совестливого, нервного Батюшкова выразить и закрепить на бумаге чувства такого жеребца, каким посчастливилось родиться Парни.

Батюшков не родился поэтом, а сделался им. Исходным материалом послужили тут: любовь к литературе, честолюбие (потаенное, но жгучее), каторжный труд, беспрецедентно высокий уровень начальной подготовки.

Рано лишившись матери, Батюшков получает тщательное воспитание в нескольких частных пансионах Петербурга, а затем попадает в семью двоюродного дяди, Михаила Никитича Муравьева, и более двух лет живет в его доме. Муравьев — не только известный поэт, но и известный педагог, бывший в свое время руководителем воспитания императора Александра. Живя у дяди, Батюшков находится в постоянном общении с Олениным и Николаем Львовым, знакомится со знаменитыми членами их литературно-просветительских кружков. Семнадцати лет Батюшков поступает на службу в канцелярию попечителя Московского университета — и оказывается сослуживцем Катенина, Гнедича...

Такая исключительно благоприятная обстановка не привела к форсировке собственных поэтических достижений. Обилие материалов и сведений долгое время лежало без движения. Путь Батюшкова в поэзию был долгим и трудным.

Переписка с Гнедичем, относящаяся к этим «годам учения» (между 1805 и 1813), является сегодня едва ли не самой интересной частью литературного наследия Батюшкова. Изящество, трезвый ум, россыпи дельных и тонких замечаний, относящихся к технической стороне поэтического дела... Рядом с письмами собственные достижения Батюшкова в поэзии за эти годы выглядят более чем скромно: в год он пишет одно-два стихотворения — пишет с усилием, которое очень заметно при их чтении и которое иногда вознаграждается двумя-тремя удачными строчками. Складывается впечатление, что Батюшков — прирожденный аналитик; синтетическая, творческая его способность была не так велика. Малая продуктивность таланта, высочайшая требовательность к себе сделали творчество для Батюшкова добровольным мученичеством.

Огромный критический потенциал, как кислота, разъедал дотла те крохи непосредственной поэзии, которые способна была произвести муза Батюшкова.

Считается, что Батюшков многолетним самоистязанием добился-таки высшей гармонии и стал непосредственным предшественником Пушкина в русской

поэзии. Так, В. Вейдле писал в одной из последних своих книг, что, мол, Пушкин так богат (признанием в первую очередь), а Батюшков такой бедняк, — простая справедливость требует, чтобы батюшковский приоритет был наконец признан официально или, лучше сказать, всенародно. Должны мы все не забывать, что это батюшковский стих принес Пушкину и радость максимальной самоотдачи, и всемирную славу.

Рассуждения Вейдле, «слишком человеческие» по чувству (каждому приятно восстановить справедливость и одарить бедняка — особенно так за чужой счет), и по сути своей вызывают тягостные сомнения. Пушкин учился у многих, он не гнался никогда за лаврами первооткрывателя. Он двигался по столбовой дорожке, густо забитой людьми и экипажами, и к двадцати семи годам обогнал всех на этой дорожке. В самом начале пути приходилось ему, наверное, и у Батюшкова чему-то учиться. Но дело в том, что батюшковские стихи, написанные в силу пушкинских (таковы, по общему мнению, два произведения Батюшкова: «Ты пробуждаешься, о Байя, из гробницы...» и особенно «Есть наслаждение и в дикости лесов...»), родились в Италии в 1819 году, когда Пушкиным были уже написаны «Возрождение», «К Чаадаеву», «Молитва русских», «Пробуждение» и некоторые другие стихотворения, гармония и сила которых вполне удостоверяют самодержавность юного Пушкина в русской поэзии.

Помня о том, как внимательно относился Батюшков к творчеству Пушкина и как рассеянно жил Пушкин в 1819 году, можно бы, наоборот, предположить, что это батюшковская свеча, истерзанная за годы холостых усилий, чуть ли не зубами изгрызенная, все-таки вспыхнула перед концом от свечи Пушкина.

Но скучно заниматься этим. В действительности совсем не важно, где именно брал Пушкин свое добро. Как любил говорить П. Валери, лев состоит из съеденных баранов. Подражать барану, испытывать баранье влияние, питаться бараниной — три разные вещи, но как трудно бывает различить их! С большой осторожностью следует подходить к вопросу о «заимствованиях» и «влияниях» в искусстве.

Если бы все так просто обстояло в этом непростом и деликатном деле, как думают многие (один писатель «открыл», другой — «украл» и прославился), то почему мы-то с вами до сих пор ничего не крадем? Пушкин обобрал Батюшкова — мы же и самого Пушкина можем обобрать! Отбросим постыдную лень. Подарим России двадцать новых классических авторов.

А если все не так просто, если из личного бесстыдства и чужих строчек ничего прочного в поэзии соорудить нельзя — к чему тогда заводить этот тяжелый разговор о приоритетах?

Об отношении Пушкина к поэзии Батюшкова лучше всего судить по собственным его заметкам, сделанным на полях второй части (стихотворной) «Опытов в стихах и прозе». Как старый арзамасец и как добрый человек, чуткий к несчастью ближних, Пушкин в 1830 году должен был относиться к Батюшкову с особенным участием. Только что он посетил дом, специально нанятый для Батюшкова в Грузинах, отстоял там всю ночь, пытался заговорить с больным поэтом — и Батюшков не узнал Пушкина. Эта встреча «гениев “Арзамаса”», первая после двенадцатилетней разлуки, оказалась последней их встречей. Конечно, Пушкин был потрясен ею.

И вот он открывает книгу Батюшкова, испытывая грусть и некое благоговение («Увы! Бедный Йорик. Я знал его...»), перелистывает, пишет на полях одобрительные отзывы: «прекрасно», «какая гармония», «прелесть», а под каким-то особо несуразным произведением заботливо помечает, что оно «писано в первой молодости поэта». Постепенно атмосфера сгущается. Давно замечено, что стихи, создание которых оплачено трудовым потом, мозолями, болью в пояснице, требуют сходной оплаты и от читателей своих. Порок же лицемерия не был присущ Пушкину (равно как и добродетель терпения). Буквально видишь, как он понемногу закипает, как испаряется его напускное благодушие. А стихи тянутся и тянутся, царапают и царапают слух... Нет, Пушкину не нравится то, что он читает, и ничего с этим поделать уже нельзя. «Дурно», «дурно», «какая дрянь», «как плоско!» — аттестует он в раздражении несколько стихотворений подряд и наконец, отчеркнув в произведении «Ответ Г-чу» два стиха:

Твой друг тебе навек отныне  
С рукою сердце отдает, —

помещает тут же на полях их прозаический перевод: «Батюшков женится на Гнедиче!»

Молния пушкинского остроумия, полыхнув, разряжает атмосферу: Пушкин продолжает делать пометки, доводя начатое мероприятие до конца, — но за его оценками («прекрасно» и «прелесть» попеременно с «дурно» и «гадость») чувствуется уже отчужденность, сквозит душевный холодок.

Поэт, который одиннадцать лет копил силы и стихи для своего единственного сборника, потом еще год держит корректуру, сидя в деревне, а в результате все-таки «женится на Гнедиче», — такой поэт, при всех его неоспоримых заслугах и достоинствах, не мог быть Пушкину товарищем на Парнасе. Молодость прошла. Запоздалое внимание к творчеству Батюшкова обернулось для Пушкина «схождением», явилось, по сути дела, пустой тратой времени.

Писатель Ю. Карабчиевский, автор известной книжки «Воскресение Маяковского», обнаруживает у своего героя странную психологическую черту — неспособность увидеть в готовом стихе то, чего он (Маяковский) туда не вкладывал. Карабчиевский объясняет этот дефект отсутствием у Маяковского чувства юмора.

Между тем «дурная пародийная двусмысленность» многих стихов Маяковского и их принципиальная конструктивность (о которой Карабчиевский пишет в других местах своей книги) — две стороны одной медали. Слово мстит за насилие над собой. «Выматывающая силы и нервы борьба со стихом», желание навязать уступчивой русской речи свою волю, добиться того, чтобы она, проклятая, перестала выражать то, что в нее вложено от века, а выразила бы то, что требуется в настоящую минуту сочинителю, — все это и предопределило жизненную неудачу Маяковского, а не недостаток у него чувства юмора. Блок вовсе не имел этого чувства, однако ничего смехотворного в его лирике нет — никакой пародийной двусмысленности.

Остается добавить, что вся жизнь Батюшкова в искусстве прошла под знаком безотрадной и безнадежной «борьбы со стихом». И если элементы

автопародии встречаются в его творчестве реже, чем в творчестве Маяковского, то виноваты в этом высокий вкус Батюшкова, моральность его мышления, чистота служения — короче говоря, сословные предрассудки, а не принцип, лежащий в основе его поэтической деятельности.

Безысходно отношение Батюшкова к родному слову: «Язык-то сам по себе плоховат, грубенец, пахнет татарщиной. Что за Ъ? Что за Щ? Что за Ш?...» Любой студент-заочник, проучившийся полгода на словесном отделении любого пединститута, смог бы за пять минут доказать Батюшкову, что нелюбимые им буквы русского алфавита имеют к татарщине такое же точно отношение, как к японщине или калифорнийщине, — да что толку! Любая информация (положительная, отрицательная, нейтральная — любая) о «плоховатом», «татарско-славянском» наречии русского народа была бы попросту лишней для Батюшкова, который «сию минуту читал Ариоста, дышал чистым воздухом Флоренции, наслаждался музыкальными звуками авзонийского языка... что слово, то блаженство»!

Блаженство и мука, отвращение и привязанность — все эти душевные состояния слабо зависят от деятельности рассудка. «Не по хорошу мил, а по милу хорош», — гласит мудрая русская пословица. Рассудок лишь обслуживает наши сердечные предпочтения или антипатии, зачастую вопиюще нелогичные и несправедливые.

Грустно думать о том, что «пламенное желание усовершенствования языка нашего, единственно по любви... к поэзии», которым отличался Батюшков, не принесло чаемого плода. Но что делать? Законы духовной жизни нелегко приятны и достаточно строги. Нельзя же, любя что-то одно (итальянскую поэзию), ненароком усовершенствовать что-то совсем другое (русский язык). Тем более что этот последний Батюшкову элементарно не нравился.

Если совершенство родного языка не присутствует реально в твоём внутреннем опыте, то о каком усовершенствовании его на практике может идти речь?

Язык живет своей жизнью, при этом язык верно служит нам, хотя он старше нас и мудрее. Очень недальновидно третировать его свысока, обижать, обзывать недоучкой. Язык ведь не останется в долгу перед тобою. У всех на виду утешит и обласкает какого-нибудь молодого шалуна, «гуляку праздного», а тебя, умного, скромного и честного, оставит обниматься с одноглазым поэтом Гнедичем.

Живое дело — русская речь. Отделает так своего обидчика, что до могилы не забудется едкая насмешка. Гордый ум может и не снести обиды, может внезапно обрушиться под ее тяжестью.

Радостных дней выпало на долю Батюшкова совсем немного, черная меланхолия была постоянной его спутницей от колыбели и до тридцатипятилетнего возраста. В этом возрасте обнаружились у него явные признаки душевной болезни. Весной следующего (1823) года Батюшков трижды покушается на самоубийство и после этого окончательно уже переходит на попечение родных. В апреле 1824 года он пишет письмо Александру I, предлагая царю «немедленно удалиться в монастырь на Белоозеро или в Соловецкий».

Царь наш отправляет больного поэта в Германию (и Жуковский сопровождает Батюшкова в этой скорбной поездке до Дерпта); спустя четыре года немецкие врачи отступаются от Батюшкова, признав его болезнь неизлечимой.

В память о недолгом пребывании поэта на дипломатической службе император Николай назначает ему пожизненную пенсию в 2000 рублей, и настает тишина — мрачный эпилог к жизненной драме Батюшкова, растянувшийся на десятилетия. «Ровно тридцать лет и три года», как в сказке, продолжалась болезнь Батюшкова. Он умер в разгар Севастопольской обороны, пережив императора Николая, но так и не узнал, кажется, что в России появился царь с таким именем.

Попытки осмыслить эту драму, извлечь из нее какой-нибудь общепользительный урок предпринимались не раз в нашей литературе. Были тут откровенные спекуляции на ходовую тему, но две попытки осмысления заслуживают пристального внимания.

Болезнь Батюшкова пытались объяснить, во-первых, чувством тревоги, которую внесли в его жизнь сыновья М. Н. Муравьева — будущие декабристы, якобы посвятившие поэта в свои планы. Михаил Дмитриев пишет, пересказывая догадку дяди (который был не только «министр, поэт и друг», но и курировал долгое время работу Тайной полиции): «Батюшков, с одной стороны, не хотел изменять своему долгу; с другой — боялся обнаружить сыновей своего благодетеля. Эта борьба мучила его совесть, гнала его чистую поэтическую душу. С намерением убежать от этой тайны и от самого места, где готовилось преступное предприятие... отправился он в Италию». Но и в Италии, по мысли Дмитриевых, «грызла его роковая тайна» и т. д. Остальное понятно.

По другой версии (ее, кажется, придерживался в наши дни П. Г. Паламарчук), первопричиной батюшковской болезни послужили грозные события двенадцатого года. Батюшков — чистейший, беспримесный западник, воспитанный в духе преклонения перед французской культурой, — имел несчастье увидеть эту культуру в работе, на марше. Потрясение основ, на которых покоилось стройное и гармоничное мирозерцание Батюшкова, не могло пройти бесследно для его хрупкой психической организации.

Письма Батюшкова, относящиеся к военной поре, выражают действительно сильнейшее душевное смятение:

«Ужасные происшествия нашего времени, происшествия, случившиеся как нарочно перед моими глазами, зло, разлившееся по лицу земли во всех видах, на всех людей, так меня поразило, что я насилу могу собраться с мыслями...»

«Ужасные поступки... французов... в Москве и в ее окрестностях, поступки, беспримерные и в самой истории, вовсе расстроили мою маленькую философию и поссорили меня с человечеством <...> Зачем мы не отжили прежде общей гибели?»

«Гибель друзей, святыня, мирное убежище наук — все осквернено шайкой варваров! <...> Сколько зла! Когда будет ему конец? На чем основать надежды? Чем наслаждаться?»

В марте 1814 года Батюшков в свите Александра I вступает в Париж. Близкое знакомство с мировой столицей только усиливает в душе поэта чувство горечи.

«Французы... должны быть благодарны нашему царю за спасение не только Парижа, но целой Франции, — и благодарны: это меня примиряет несколько с ними. Впрочем, этот народ не заслуживает уважения».

Позже, в период Ста дней, Батюшков еще раз помянет недобрым словом парижский народ. Известие о возвращении Наполеона застаёт его в Петербурге, почти одновременно с этим известием в семье его петербургских друзей умирает дочь. Ликование «благодарных» французов, смерть молодой девушки, никому не сделавшей зла, безысходное горе родителей — все это производит в кроткой душе Батюшкова страшное возмущение, предваряющее отчасти знаменитый карамазовский бунт против Творца: «А Наполеон живет и стоит. *Изверг, подлец* дышит воздухом. Удивляюсь иногда неисповедимому Провидению. Дай Бог, чтоб ему свернули шею скорее или разгромили это подлое гнездо, которое называется Париж. Ни одно благородное сердце не может любить теперь этого города и этого народа, шаткого, корыстолюбивого и подлого. Я видел его вблизи и потерял к нему последнее уважение».

Впрочем, степень разочарования Батюшкова в идеалах своей юности не следует преувеличивать. В конце концов, он не сошел с ума в 1815 году, а вступил в «Арзамас», принял посильное участие в журнальной борьбе с «варварами»-шишковистами, азартно ругал «мандаринный», «рабский» язык Русской Церкви, в одном из писем своих издательски назвал родную землю «землей клюквы и брусники», а уезжая в 1818 году из России, написал буквально следующее: «Спешу в Рим, на который я и взглянуть недостойн!»

Русский западник всегда умел пренебречь скучной эмпирикой — умел, наблюдая самые отвратительные моменты западной истории, как-то скосить глаза и в очередной раз увидеть лишь неизбежные и неизбывные «грехи России». Владимир Францевич Эрн очень удачно сравнил наших западников с двуликим Янусом: «К Западу они повернуты Маниловыми, к России — бесцеремонными Собакевичами».

Батюшков — изобретатель презрительной клички «славянофил» — не имел нужды растревать себя неприятными воспоминаниями об «ужасных поступках французов в Москве». Ясно же, что отдельные промахи, допущенные передовым разъездом европейского человечества в Москве (ну там устройство конюшни в кафедральном соборе Русской Церкви, чудом неудавшаяся попытка взорвать Кремль и прочее), суть явления случайные и поверхностные, связанные вообще с переизбытком деятельности у человека фаустовского типа. «Кто трудится вечно и вечно стремится, — поют ангелы у Гёте, — того мы можем спасти», тому не сочтутся за грех мелкие ошибки. Брусника же и клюква постоянны и отражают вековечный, позорный застой. Знаковое осквернение русских святынь в 1812 году — это рябь на поверхности европейского моря, которую благовоспитанный человек просто не должен замечать; клюква же и брусника — это грозный фатум русской жизни, стыдиться их до головокружения — прямая наша обязанность от колыбели и до могилы. «Несть се благодать, и дар, но долг паче».

Вообще же, две версии батюшковской болезни, с которыми вы познакомились, кажутся одинаково правдоподобными и глубокомысленными. В жизни, все происходило проще и нелепее: мать и сестра Батюшкова были душевнобольными, болезнь нашего поэта была наследственной.

Чувствую сам, что сказанное сегодня о Батюшкове прозвучало с излишней жесткостью и определенностью.

Хотя своя неправда, своя «смертная часть» в Батюшкове, безусловно, имелась. Ну так что же? Нехорошо любить ложь в человеке; немногим лучше — закрывать глаза на ложь в человеке; но хуже всего — человека, со всей его ложью, не любить. И если в моем изложении фигура одного из классических русских авторов оказалась освещенной только со своей «смертной» стороны, то в этом, со всей очевидностью, проявилась моя неправда, мой недостаток любви к покойному Константину Николаевичу.

Чем совершеннее человек, чем человек православнее, тем меньше зла видит он в окружающих, тем острее ощущает неистребимость злого начала в своей собственной душе. «Все жители этого города от большого до малого войдут в Царство Божие за добродетели свои, а я один пойду в вечную муку за грехи мои» — вот та степень духовного самочувствия («мера александрийского кожевника»), выше которой Церковное Предание не указывает нам ничего.

В конце концов, сам Наполеон оказался недостаточно плох для роли антихриста. Не случайно же угодил он в плен именно к англичанам — он, имевший смелость злодействовать с открытым забралом и лицемерием, национальным недугом англосаксов, себя не запятнавший! И не случайно получил этот прекрасный подарок — шесть лет очистительных страданий, шесть лет тишины.

Что уж говорить о Батюшкове!

Конечно, его представления о достоинстве родного языка, о путях развития русской культуры, о месте русского человека в семье народов были вопиюще неточными. В этом отношении злую шутку с Батюшковым сыграло его первоклассное образование. Чем глубже погружался он в творения ведущих европейских умов, тем меньше оставалось у него шансов пробиться к истине. Предпочесть простосердечные творения Тихона Задонского, доморощенные теории адмирала Шишкова прославленным трудам Мармонтеля, Фенелона, Вольтера, Бартеlemi — такой подвиг слишком заметно превышал силы Батюшкова, подточенные регулярным и тщательным воспитанием в элитарных пансионах Санкт-Петербурга. Крылову больше повезло с педагогами. Расставшись со злым понытчиком из тверской канцелярии, он сохранил возможность умственной инициативы, умственного роста — Батюшков прожил в искусстве целую жизнь, ни на шаг не отступив от колен, проложенной для него воспитателями-иезуитами.

Но нам, с нашими правильными понятиями, вряд ли удастся оказать русской культуре и малую часть тех услуг, которыми одолжил ее Батюшков.

Дело в том, что количественные различия не имеют существенного значения в царстве поэзии.

В дождевой капле меньше воды, чем в Ладожском озере; в солнце больше огня, чем в серной спичке. Но стихия огня, одна из четырех мировых стихий, присутствует в горящей спичке, как и стихия воды — в дождевой капле.

В зажженной спичке не просто больше огня, чем в громадной Ладоге, — в отличие от последней, в спичке он есть. От спички может сгореть великий город; ею же в принципе может быть зажжено и новое солнце.



Батюшковская свеча горела несколько минут, и этого достаточно для тех, кто любит свет высокой поэзии, кто его ищет.

(Что же касается специфических «итальянских звуков» в стихах Батюшкова, то тут уместно будет вспомнить авторитетное мнение Катенина о «напевной, приторной роскоши звуков, которую сами итальянцы напоследок в своих стихах заметили» и от которой сумели отказаться. Величайшим поэтом Италии был и остается до сегодняшнего дня суровый Дант, чей слог Катенин называет «истинно образцом». К сожалению, Батюшков в своих итальянских студиях не этому образцу следовал.

Впрочем, легко заметить, что лучшие батюшковские строки: «О, память сердца! Ты сильней рассудка памяти печальной...», «Без смерти жизнь не жизнь: и что она? сосуд, где капля меду средь полыни...», счастливо-наглая «Вакханка», в которой каждый стих до сих пор кусается и жжется, величавые, скорбные строфы элегии, в которой поэт описал свое возвращение в Москву 1813 года, сожженную Москву:

И там, где зданья величавы  
И башни древние царей,  
Свидетели протекшей славы  
И новой славы наших дней;  
И там, где с миром почивали  
Останки иноков святых  
И мимо веки протекали,  
Святыни не касаясь их... —

совсем не заражены приторной модной певучестью.)

Если Жуковского мы называли поэтом для юношества, то для Батюшкова невозможно указать сколько-нибудь представительную категорию читателей. Редкие минуты был он великим поэтом; добивался же этих состояний каторжным трудом, следы которого, повторимся, слишком заметны в его творчестве. Читателей у Батюшкова было во все времена немного.

И только литератор в России такой роскоши — не тратить времени на чтение Батюшкова — позволить себе не может.

Не все понимают, кажется, что у Жуковского, Пушкина, Лермонтова учиться бесполезно. Сколько ни учишься — заново не родишься, на царского сына не выучишься, «Русалку» и «Ангела» в семнадцать лет не напишешь. Батюшков, слабо начинавший, прибавлявший по капле, мучительно долго преодолевавший трудности, общие для всякого человека, собравшегося написать страницу по-русски, — живое учебное пособие для начинающих авторов.

Жизненный опыт Батюшкова — опыт писателя, сумевшего разжечь крохотную искру природного дарования, сумевшего наперекор судьбе добавить две-три странички к многотомному своду классической русской литературы и заплатившего за это страшную цену, — останется навсегда поучительным и актуальным.

Батюшков у нас — поэт для специалистов, поэт для поэтов.